RADUGA

ISSN 0131-8136

РАДУГА

9

CURRENT PERIODICAL COLLECTION
OCT 04 1989

В этом номере:

«МОРСКАЯ ЗАПИСЬ» —
рассказ Петра **СЕВЕРОВА.**

«ПТИЧИЙ ГОРОД» —
повесть-сказка Феликса **КРИВИНА.**

Николай **ДУБОВ —**
из литературного наследия.

«ХЭППИ ЭНД» —
фантастический рассказ
Генри **КАТТНЕРА.**

1989

ЛЬВОВ.
Памятник Ярославу Галану.
Монумент Адаму Мицкевичу.
Памятник Ивану Франко.

РАДУГА 9

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
OCT 3 1989

Сентябрь

ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ

ИЗДАЕТСЯ С 1927 ГОДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

● ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Дню сему, испившему отваги. Подборка стихов. 3
СЕВЕРОВ ПЕТР. Морская запись. Рассказ. 7
ГЛОТОВ ВАСИЛИЙ. Мой путь и компас мой. Стихи 16
КРИВИН ФЕЛИКС. Птичий город. Сказка. 18
КУЛЬЧИЦКИЙ ВЛАДИМИР. Из интернациональной тетради. 65
СПАСЕНОВ АЛЕКСЕЙ. Тропинка, ищущая путь. Стихи. 73
МАКСИМОВ ВИКТОР. Рассказы. 74
ТАРАСЕНКО НИКОЛАЙ. Происхождение. Стихи 82

● НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ДУБОВ НИКОЛАЙ. Рассказы. 83
НИКАНДРОВ Н. У Горького в Нижнем Новгороде. 90

● ПУБЛИЦИСТИКА

КОТЛЯРОВ БОРИС. Объяснение в любви. 109
БОРИСОВ АНАТОЛИЙ. Мужество милосердия. 115

КИЕВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«РАДЯНСЬКЫЙ
ПЫСЬМЭННЫК»

© «РАДУГА», 1989.

58 90 95ST2 53 005 XL 2 2831

● КРИТИКА

ЗАСЛАВСКИЙ И. **Блистательные примеры.** 136

● ПИСЬМА, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ 142

Лавренюк Н. С. Человек и тайна. **Таран Владимир.** Он страстно звал к борьбе. **Паршутин Н. А.** Большое зло. **Духонченко Я. К.** Не ради славы, а ради себя. **Астафьев Виктор.** Строки из письма.

● ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ФАНТАСТИКА

КАТТНЕР ГЕНРИ. **Хэппи энд.** Рассказ. 150

Главный редактор
А. П. РОГОТЧЕНКО

Редколлегия:
Л. Н. ВЫШЕСЛАВСКИЙ,
М. В. ГЛУШКО,
Ф. Д. ЗАЛАТА,
С. С. КАЛИНИЧЕВ,
В. В. КАНИВЕЦ,
М. С. ЛОГВИНЕНКО,
Б. Д. ПАЛИЙЧУК,
Г. Л. ЩУРОВ,
Ю. Ф. ЯРМЫШ

Ответственный секретарь
Н. А. МИЛОЦКАЯ

Технический редактор **А. Н. Нечипоренко**
Корректоры **Т. Б. Криницкая, Ю. В. Нижник**

Адрес редакции: 252004, Киев-4, Пушкинская, 32. Телефоны 224-91-98, 224-33-23.

Сдано в набор 01.06.89. Подписано к печати 22.08.89. БФ 37763. 70×108/16. Бумага книжно-журнальная. Офсетная печать. 14,0 усл. печ. л. 14,7 усл. кр.-отт. 15,88 учетн.-изд. л. Тираж 73. 336 экз. Зак. 01266. Цена 75 коп.

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна», 252047, Киев-47, проспект Победы, 50

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ АВТОРОВ:
Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи объемом до двух авторских листов редакция не возвращает.

ПОДПИСКА НА «РАДУГУ» — БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Текст набран и сверстан с использованием системы переработки текста на базе фотонаборного комплекса «Каскад» и средств вычислительной техники.

Поэзия и проза

ДНЮ СЕМУ, ИСПИВШЕМУ ОТВАГИ

К 50-летию воссоединения Западной Украины с Украинской ССР в составе Союза Советских Социалистических Республик

Чем дальше уходит от нас событие, тем больше, окидывая взглядом половодье времени, склонны мы оценивать его в контексте иных дат, определяя место свершившегося во всей системе исторических координат. Причем, стремимся сделать это по-научному точно, доказательно, всесторонне. Но стремление к такой объективной оценке, ничуть не умаляя самого события, рождает, тем не менее, своеобразную аберрацию: исподволь, незаметно теряется, а подчас и просто не принимается в расчет эмоциональная составляющая факта. А ведь без этого история — лишь сумма цифр и имен, калькуляция закономерности. И лишь художественное слово — хоть в какой-то мере — возвращает нам самый дух времени,— жестокого, героического, наивного и восторженного. Слово дает нам ощущение, а опыт — дистанцию. Только так и возможно понять то, что свершилось на земле, подарившей нам жизнь...

Микола БАЖАН

КЛИЧ

Вновь по́д вечер на взгорье за селом
Шли молчаливо тропками крутыми,
И столб с костистым и смешным орлом,
Как виселица, высился пред ними.
Ощипанную выпятивши грудь,
Несытый клюв распялив над землею —
Ободранной, чужою, не родною,
С угрозою он преграждал им путь.
Проклятый призрак черною каймою
Въедался, как впеченное тавро,
В награбленное, взятое с самою
Хозяйской жизнью жалкое добро.
Зарей вечерней шли они на кручи
И в набожной внимали тишине,
Как на заставе, на притихшем Збруче,
Поет боец, с мечтою наравне,

Н. НИКАНДРОВ

У ГОРЬКОГО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

(Из автобиографических глав «По волчьему билету»)

Автор публикуемых глав Николай Никандрович Никандров (1878—1964) прожил богатую событиями жизнь. Сын мелкого почтового служащего, он еще на школьной скамье стал задумываться над несправедливостями окружающей жизни, был «одержим поисками истины, правды, справедливости», как писал сам. Закончив Севастопольское реальное училище, поступает в Московское инженерное училище путей сообщения. Но и здесь его не покидают беспокойные мысли о смысле бытия, о социальной неустроенности мира. Двадцатилетний студент пишет письмо Л. Н. Толстому, в котором сетует: «Не знаю, что мне делать? Уж больно тяжело мне жить среди людей, не разделяющих мои мысли...» Толстой сочувственно отнесся к мятущейся душе молодого человека, пригласил для беседы в свой московский дом, помог советами, которые укрепили в Никандрове веру в себя.

Встреча с Толстым многое определила в судьбе будущего писателя. Он уходит из училища путей сообщения и поступает в Петербургский лесной институт. Это было время бурных студенческих волнений, назревала знаменитая общестуденческая забастовка. Никандров с головой уходит в студенческое движение, посещает революционные сходки и кружки. После подавления общестуденческой забастовки и жестоких репрессий против ее участников Никандрова исключают из института и высылают из столицы под надзор полиции.

Памятуя напутственные слова Толстого о том, что «если не будете знать русского мужика, то не будете знать России», Никандров, как пишет в автобиографии, «рванулся к жизни, пошел в народ». Он работает сельским учителем в Саратовской, затем в Пермской губерниях. Полицейские документы свидетельствуют, что в Перми «бывший студент» Шевцов (Никандров — это его псевдоним) посещал подпольные революционные сходки. А когда однажды учителей губернии собрали на съезд, Никандров высказывает на нем свои «противоправительственные» настроения. На одном из культурных мероприятий съезда «благоразумные», или «консерваторы», как их именует охранка, запели «Боже, царя храни», тогда Никандров и его единомышленники гулко запели «Марсельезу». Над Никандровым нависает угроза ареста. Он бежит в Севастополь. Здесь его бросают в тюрьму. По «высочайшему» повелению летом 1903 года как «политически неблагонадежного» высылают из Севастополя под гласный надзор полиции в Нижний Новгород.

В этом крупном приволжском городе судьба сводит Никандрова с А. М. Горьким, о чем он поведал в неопубликованных автобиографических главах «По волчьему билету» (одна из глав — «Цвела сирень» в первоначальном виде, в иной редакции была напечатана при жизни автора). К Горькому тянулись ссыльные, как к магниту, он поддерживал их не только морально, но и материально. Никандров, бывая в доме Горького, красочно, образным языком рассказывал о виденном и пережитом, эти устные рассказы «бывалого человека» нравились «буревестнику революции», и он посоветовал ему писать. Вскоре в петербургском «Журнале для всех» появляется рассказ Никандрова «Черная кость... белая кость...» — первое выступление молодого писателя в столичной печати.

После отбытия годичной ссылки Никандров возвращается в Крым. Работает учителем в селе Воинка Перекопского уезда. Надвигалась первая российская революция. Народ бурлил. Никандров проводит агитационную работу среди крестьян, разъясняет им на «чтениях» суть революционных событий, рассказывает о причинах тяжелого положения трудового люда. Его снова арестовывают, отправляют в севастопольскую тюрьму, а затем, после строгого «дознания», назначают новую ссылку — в Архангельскую губернию.

Жизненные впечатления переполняют Никандрова. Он пишет рассказы и посылает в газету «Крымский вестник», где их охотно печатают. А через некоторое время автор и сам возвращается в Севастополь — по амнистии от 17 октября 1905 года он был освобожден от наказания.

На глазах Никандрова разыгрался трагический финал ноябрьского вооруженного восстания в Севастополе, военным руководителем которого был П. П. Шмидт. Он видел, как по приказу командующего Черноморским флотом адмирала Чухнина расстреливали из крепостных орудий мятежный крейсер «Очаков». Восстание было потоплено в крови. Шмидта и его сподвижников приговорили к смертной казни. Тайные революционные организации Севастополя предупредили адмирала, что в случае утверждения им приговора он тоже будет казнен. Кровавый адмирал не пощадил «очаковцев», но и сам поплатился жизнью: он был застрелен 28 июня 1906 года на своей даче. Главную роль в организации этого акта сыграл, как пишется в журнале «Каторга и ссылка» (1929 год), один «молодой товарищ», названный подпольной кличкой. Позже стало известно, что этим молодым товарищем был Никандров, в деталях разработавший план исполнения революционного приговора. Убийство Чухнина не раскрыли, стрелявший в него матрос скрылся и был переправлен за границу. У Никандрова в связи с этим актом сделали обыск, но ничего не нашли. Тем не менее он снова был выслан из пределов Севастопольского градоначальства.

Пришлось перейти на нелегальное положение. А в 1910 году Никандров эмигрирует за границу и около четырех лет живет во Франции, Италии, Швейцарии, зарабатывая на жизнь физическим трудом. В эмиграции он знакомится с А. В. Луначарским, А. С. Новиковым-Прибоем и другими русскими политэмигрантами. Вечерами и в редкие свободные дни занимается литературным творчеством — пишет ряд повестей и рассказов. Но его угнетает «машинность заграничной жизни», как писал он матери в Севастополь. По его признанию, «русский писатель должен жить только в России», и в 1914 году Никандров возвращается на родину. К этому времени в журналах уже были опубликованы многие его произведения, тепло встреченные критикой и литературной средой.

Шумный успех выпал на долю первого сборника рассказов Никандрова «Береговой ветер», выпущенного в 1915 году. Вскоре его дважды переиздали. За Никандровым упрочилась слава прирожденного реалиста, продолжателя классических традиций. Его творческому почерку присущи острая наблюдательность, меткость художественных характеристик, яркость и колоритность живой речи героев, что высоко ценили А. М. Горький, А. И. Куприн, В. Г. Короленко, С. Н. Сергеев-Ценский и другие. Этими качествами отличаются и публикуемые ниже главы.

Павел ДЕГТЯРЕВ

1. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

— Чтобы на улице на вас не обратили внимания, выходите не вдвоем, а порознь и идите в разные стороны, как будто вы незнакомы, — едва войдя в дом, услыхал я быстрый женский голос, донесшийся до меня из глубины коридора, где, вероятно, выпускали гостей Горького.

— Помилуйте, — попробовал было возразить смущенный мужской голос. — Зачем же нам с Анной Васильевной прикидываться незнакомыми, когда в Нижнем все знают, что мы уже десять лет как женаты!

— Пожалуйста, сделайте, как я советую! — настаивал мягко, но властно прежний женский голос.

«Ого, да тут, однако, строгости!» — мысленно произнес я.

...Привыкшая к посетителям, подобным мне — молодым, неважно одетым, обязательно с рукописью в руках, Екатерина Павловна, жена Горького, вначале даже не посмотрела на меня как следует. Только потом, заметив, что я иду с пустыми руками, спросила:

— А рукопись в передней на сундуке забыли?

— Нет,— почему-то вспыхнул я от стыда. — Я без рукописи.

— Ах, вы не писатель! — деликатно сказала она и на этот раз пристально посмотрела на меня, как на человека, действительно оригинального, не в пример прочим нижегородцам, пытавшим счастья в сочинительстве.

Екатерина Павловна указала мне дверь кабинета Горького, а сама ушла к себе. Я поблагодарил ее и остался в коридоре один.

Я стоял в полупотемках перед плотно закрытой дверью, тихонько прикасался к ней пальцами, но постучаться не решался: удерживал непонятный страх. От прежней мальчишеской храбрости не оставалось и следа. Зачем, с какой целью я явился сюда? Какие у меня могут быть дела с Горьким? Кто он и кто я? Он гремит на всю Россию, на весь мир. А что собой представляю я? Политического высланного, каких много? Молокососа, который в разговоре не умеет правильно построить фразу? Что я должен сказать ему в первую очередь? Какие из его сочинений я читал? Как я их понял?

Собственно, у меня еще есть превосходная возможность бежать. Прокрасться на цыпочках по коридору к черному ходу, и я — спасен.

Революционер, и — бежать? Отчего бежать? От страха встретиться с глазу на глаз со знаменитым писателем?

Зачем же я тогда нахвастал своим товарищам по волчьему билету, что «иду по делам всей нашей коммуны к Горькому»? Зачем надо было трезвонить об этом?

В этот момент за дверью громко кашлянули; с грохотом переставили стул. Конечно, это был он. И я заставил себя внезапно отяжелевшей рукой постучать в дверь. Но что это был за стук! Не стук, а какое-то царапанье.

— Войдите! — тотчас же услыхал я уверенный голос.

Я толкнул дверь, сделал шаг вперед, переступил через порог, поздоровался, хорошо не видя, с кем здороваюсь, в замешательстве остановился и некоторое время стоял, как истукан. Только слышу, как прежний мужиковатый волжский голос, с очень круглыми и очень гулкими «о», словно произносимыми в рупор, говорит мне:

— Присаживайтесь, куда хотите. Хотите — на стул. Хотите — на диван.

Я сел не на диван, конечно, а на стул. Волнение в один момент совершенно опустошило меня.

Горький, очевидно, чтобы размяться, встал из-за письменного стола, потянулся, окинул меня беглым, но очень проницательным взглядом, сейчас же отвернулся, засунул крупные кисти рук в карманы, немного ссутулился и медленно и широко зашагал, закружил по кабинету.

Я не успел как следует разглядеть его лица. Мне только показалось, что и вертикальная складка на переносице, и брови, и глаза, и ресницы, и ноздри — все это было у него необычайно крупное, резкое, видное издали и придававшее ему не по летам хмурое, почти грозное выражение.

— Ну, рассказывайте,— сказал он окающим басом.

Даже иные «а» он басил как «о»: «содитесь», «россказывайте».

Максим Горький, такой талантливый рассказчик, просит меня рассказывать! А что я ему расскажу, чем заинтересую? Не плакаться же с первых слов на нашу материальную нужду и не просить рекомендательных писем для поступления на работу «пострадавшим за правду», «беспаспортным», живущим по «волчьим билетам», «на чужой стороне», «вдали от родителей»? О материальной стороне — потом. Это не уйдет. А сперва... сперва о себе, как о политике; о революционной работе в наших местах, о полиции...

Горький, шагая по комнате, мельком, и в то же время очень цепко, поглядывал на меня и, чтобы прийти мне на помощь, задавал обычные при первом знакомстве вопросы. Какая у меня профессия? Откуда я родом? Как попал в Нижний? И все покалывал меня короткими бросковыми взглядами, все покалывал.

Не думаю, чтобы я отвечал ему очень складно, все еще поглощенный разглядыванием его внешности, столь неожиданной для меня и перевернувшей во мне прежние представления о нем.

Оказывается, в натуре, вблизи, Максим Горький совсем не похож на свои портреты, во множестве издаваемые предприимчивыми торгашами, где он — с волосами до плеч, в широкополой шляпе набекрень, в длинной, застегнутой на груди крылатке — эффектный молодой итальянец.

А тут я видел простого, могуче шагающего по комнате русского мастерового, из приволжских крестьян, несуразно высокого, поджарого, но очень сильного или, как принято говорить о таких, жилистого. У мастерового было очень смышленое, смелое, вызывающе-курносое лицо, которое он часто вскидывал вверх и чуточку вбок. Широкие приподнятые плечи. Большие, как у простого народа, руки. Не толстая и не тонкая шея, и на ней небольшая, по-солдатски коротко остриженная ежиком голова, немного срезанная от макушки к затылку. Одет мастеровой в праздничную, слишком длинную и слишком широкую, черную, хорошо выглаженную косоворотку; подпоясан ремешком со свисающим длинным концом; обут в высокие ладные сапоги.

Молодость, сила, своеволие, удачливость так и играли во всей его фигуре, в каждом движении, жесте, повороте головы, резкой складке на переносице...

Был момент, когда Горький, заинтересовавшийся моим ответом на какой-то его вопрос, остановился прямо передо мной. Наши взгляды встретились, я впервые близко увидел его глаза, и во мне мгновенно стерлось все, что я до сих пор составил себе о нем.

Глаза Горького, глубоко сидящие, большие, светло-серые, широко открытые, с длинными ресницами, были такие ясные, каких я ни до встречи с ним, ни после никогда не встречал. И вспомнилось мне, как когда-то, такой же зачарованный, стоял я перед витриной музея, где были выставлены поразившие меня невиданными цветовыми оттенками редких пород драгоценные камни, с краткой надписью над ними: «Русские самоцветы». Я тогда понял, что такие цвета даются предмету только самой природой. Создать их искусственно, скопировать, повторить невозможно: получится то, да не то.

Такими неповторимыми «русскими самоцветами» показались мне теперь глаза Горького. Таким драгоценным русским самоцветом, рожденным недрами богатой русской земли, стал для меня с той минуты и весь Горький.

А как он просто беседовал со мной! На его заостренно-внимающем лице не было и тени обычного в таких случаях недовольства непрошеным гостем. В его словах не было и намека на занятость, усталость, нездоровье. Наоборот, в нем поочередно прорывались то радость художника, встретившего нового человека, то восторг революционера, получающего от меня, с мест хорошие вести.

Слушая мои экзальтированные рассказы о забастовках рабочих, о студенческих беспорядках, об общем революционном подъеме в стране, Горький возбужденно кружил по комнате, останавливался, жестикулировал, делая то радостные, то гневные окающие восклицания.

— Вот это здорово! Уже и полиции не боятся! Молодцы наши рабочие! Дружные! Бастуют как один! А студенты! Ни в одной стране нет таких студентов, какие у нас!

Потом вдруг совершенно другой, углубленный, изучающий взгляд на мою особу и неожиданный вопрос:

— Женаты?

— Что вы, что вы, Алексей Максимович! — ужаснулся я. — Разве можно жениться, пока в России не свергнуто царское самодержавие?

Горькому понравился мой ответ. Он остановился и с веселым удивлением поглядел на меня. Его взгляд как бы говорил: «разных видывал, а таких — еще нет».

— Ого, вот вы какой! Здóрово!

И Горький на минуту задумался. Стоял, высоко вскинув неподвижное, напряженное мыслью лицо. Выпятив крепко сжатые губы, дышал через большие расширенные ноздри.

— А ведь это верно! — наконец произнес он, опустил голову и снова зашагал. — Это вы хорошо сказали, правильно. Вот какая у нас молодежь! Не ее учить, а у нее учиться нужно. Много у нас... таких?

— Есть. Много.

У меня распирало грудь от восторга. Горький не скучает со мной!

Наша беседа протекала вперемежку: то о последних революционных событиях, то опять лично обо мне и о моих товарищах по «волчьему билету».

— Вы читали? — обрадовался и повеселел автор. — Значит, я правду написал? У меня нет ничего выдуманного, все взято из жизни?

— Факт сообщен правильно,— с прежним спокойствием, не спеша, продолжал Горький, поставив на стол локти и сцепив длинные пальцы рук. — Но для художественного произведения этого недостаточно. Не хватает многого. Я, конечно, буду повторять азбучные истины, но произведение искусства не протокол, оно должно не регистрировать факт, а осмысливать его, вскрывать, освещать изнутри. Если еще кое-как можно понять причину покушения на самоубийство вашего Ветлугина, то почему он пытался убить и Остроумову? Почему ваш герой «выпустил по девушке две пули», а себе оставил одну? Взята значительная тема, но в меру своей значительности не разработана.

— Значит, тема моя значительная? — жалобно и вместе с тем радостно переспросил автор, весь красный, обливаясь потом, как в бане.

— Во всяком случае, заслуживающая внимания,— подтвердил Горький и продолжал: — Это я говорю относительно содержания прочитанного. Но... Совсем нет красок, отсутствуют картины, голый перечень названий предметов, а не самые предметы в их материальности. Ни одного человеческого портрета, ни одного характера, только фамилии. А художник слова должен показывать вещь, а не только называть ее. Назвал сирень — покажи сирень или чувственное впечатление от нее. Назвал Саратов — покажи этот город, дай хоть один меткий, чисто саратовский штрих. Назвал любовь — нарисуй ее, покажи, как она выглядит. Назвал отчаянье — то же самое: заставь меня ощутить это чувство, заболеть им. Кстати, необходимо отметить, что совсем необязательно в рассказе приводить подлинное имя живого человека — Максима Горького, поскольку это не заявление прокурору на предмет привлечения означенного Максима Горького за соучастие в предумышленном убийстве гимназиста Ветлугина. Вместо «писатель Максим Горький» можно было бы написать «модный писатель». Так скромнее, без претензии на скандал или сенсацию. И опять: почему вы фамилию гимназиста не изменили? В газете был Ветлугин и у вас Ветлугин. Осталось еще выяснить вот что. Сознайтесь-ка, Мукосеев, откуда вы взяли «белого голубя»?

— Из головы. Честное слово, Алексей Максимович, из головы! — с жаром воскликнул Мукосеев.

— Из головы-то из головы,— улыбнулся Горький. — Я знаю, что из головы. Но как он к вам в голову попал, этот голубь? Откуда?

Мукосеев стоял и растерянно водил глазами.

— Не знаете?

— Не знаю, Алексей Максимович. Если бы знал, я бы сказал.

— Ну, хорошо. Я вам помогу. Вы взяли его из читаных книжек. Вы когда-нибудь сами видели на кладбище голубя в такой роли, какую ему приписываете в своем сочинении?

— Нет, Алексей Максимович, никогда не видел.

— Не видели, а пишете так, как будто видели. Как это называется?

Кто-то крикнул с места:

— Обман!

Горький помолчал и сказал:

— В такой же степени можно сомневаться и в участии тут бога, который, по вашим словам, послал на кладбище голубя обрадовать убийцу прощением его греха.

— Тоже обман! — закричал издали прежний голос.

Горький только пожал плечами и закрыл тетрадку.

Он встал и, чтобы размять ноги, начал медленно шагать по всем местечкам комнаты, сколько-нибудь доступным для прохода.

— Теперь, на прощанье, я хочу вам сказать еще несколько слов,— говорил он на ходу. — Но уже не по поводу «сирени» и Мукосеева, а вообще.

Молодой, худощавый великан на длинных ногах, он иногда останавливался то против одной группки авторов, то против другой.

— О чем пишете? — раздельно, сурово и обличительно вдруг забасили в притихшей комнате его слова. — О пустяках пишете!.. О не стоящих внимания пустяках!.. Что может дать народу такая литература?.. Писатель есть знаменосец своего народа!.. Не может знаменосец плестись в хвосте армии, он должен идти впереди!.. А чтобы идти впереди народа, нужно знать его нужды, идеалы, бороться за них, драться, умирать, если понадобится!.. Вот в какую сторону прежде всего обратите ваше внимание, начинающие литераторы!..

Авторы, подобно овцам в непогоду, сбившиеся в разных местах в тесные кучки — на диване, на стульях, на подоконниках, сидели, по-дружески обнявшись, и сосредоточенно слушали. Они видели перед собой действительно писателя-знаменосца, который крепко держал в своих сильных руках доверенное ему народом знамя — знамя недовольства, протеста, борьбы...

3. ВЕЧЕРИНКА

Однажды случилось так, что, вопреки принятому в последнее время обыкновению, я забрел к Горькому не в обеденные часы, а вечером, к ужину.

— Вот хорошо-то, что зашли,— сказал он. — Очень удачно!

— А что такое? — заинтересовался я.

Горький, прежде чем ответить, интригующе подмигнул.

— Собирается народ. И люди-то все какие! Только у нас в России можно встретить таких людей. Один замечательнее другого.

И опять, как всегда, вместо «народ», он произнес «нород».

Тут я заметил, что Алексей Максимович и одет был на этот раз чуточку наряднее, чем всегда, и настроен взволнованнее, торжественнее, чем в обычные будни. «Конечно, званый вечер».

И я слушал его веселую речь, внешне улыбался ему, а внутренне страдал. Я испытывал неприятное чувство человека обойденного, которого, за его малой значимостью, куда-то не пригласили и который совершенно случайно напоролся в знакомом доме на вечеринку с угощением... Но, казалось бы, какое я имел право претендовать на большее, чем то, что мне посчастливилось получать от Горького? Кем я был для Горького? Единицей из многих тысяч таких же людей, проходивших около него.

Точно так же я не мог побороть в себе чувство обиды, когда Горький конспирировал от меня свою беседу с кем-либо из деятелей, боровшихся против царизма. Я знал, что каждая политическая партия — и кадеты, и эсеры, и анархисты, и социал-демократы — страстно мечтала Горького иметь своим. Но он сразу и безраздельно предпочел только последних, эсдеков, и с ним частенько совещались не только члены местного комитета этой партии, но и крупные лидеры, приезжавшие из столиц. И неужели Горький обязан был посвящать меня во все тайны переговоров с ними? Конечно, нет. Я это сознавал. И все же самолюбие мое ущемлялось. С одной стороны, для меня, для моего тщеславия, важно было узнавать от Горького о каком-либо готовящемся в России революционном событии, чтобы потом можно было хвастнуть: «я это раньше знал...». А с другой стороны, во мне был уязвлен человек, которому как будто нельзя доверять. Что я, провокатор? Я в тюрьме сидел и еще буду сидеть, а они, те, с которыми он так доверчиво секретничает, знают, что такое тюрьма?

— Званый бал? — глухо процедил я, готовый, не садясь, уйти домой.

Горький задержал на мне пристальный взгляд своих удивительно больших, лучистых, глубоко сидящих глаз. Конечно, я тут же был позорно разгадан этими глазами, раскрыт ими до дна, разоблачен.

— Какой там «бал»,— махнул он рукой и, взяв меня за талию, хлопотливо повел в столовую. — Просто соберутся хорошие люди. Вы сейчас увидите это сами.

— Кто-нибудь именинник? — косясь на длинный, обильно сервированный стол, на сияющие белизной скатерти, продолжал я бормотать, усаживаясь в кресле волчком, в углу столовой. — Семейный праздник?

— Я же вам говорю, что никакого праздника нет. Если не считать праздником приезд ко мне писателей из Петербурга и Москвы.

— Пи-са-те-лей? — почему-то сделал я ударение на этой категории людей и застыдился, окидывая взглядом мой плохонький сборный наряд: поношенный пиджачок, подаренный мне каким-то «сочувствующим революции» либералом; брючишки — таким же другим; не по ногам ботинки — третьим... — Я не одет.

— Не выдумывайте,— по-отечески строго проговорил Горький и, отойдя от меня, как потом я узнал, поручил кому-то из своих домашних, пока не пройдет моя «меланхолия», поглядывать за мной, чтобы не сбежал.

Я сидел и с волнением смотрел на приходящих: художников, артистов, ученых.

Но преобладали среди них все же деятели литературы. Некоторых я уже знал по их произведениям.

Горький вообще питал большую слабость к натурам незаурядным, одаренным, ярко проявляющим себя. Он жаждал видеть в каждом человеке какой-либо талант. Поэтому, знакомя с другими, имел обыкновение возвеличивать и меня, приписывать и мне какие-нибудь значительные качества. В последнее время, благодаря его рекомендательному письму, я работал на одном нижегородском предприятии под непонятной для меня вывеской «Светопись». Моя обязанность состояла в раскрашивании акварелью диапозитивов для волшебных фонарей: великих людей, домашних животных, батальных сцен, экзотических растений... И когда, в числе других гостей, в зал вошел походкой счастливого удачника румяный юноша, подающий большие надежды, всем известный художник Сапунов — декоратор МХАТа, Горький, назвав ему мою фамилию, с гордостью отрекомендовал:

— Тоже художник.

Это я-то художник?! И все из-за моей работы в какой-то «Светописи», где серию африканских львов я иной раз малевал сплошь зеленой краской, потому что мои хозяева, скупясь на расходы, не давали другой, пока не изведу уже отпущенные мне цвета.

Я сгорал от стыда и с той минуты боялся Сапунова. Ведь ему, как художнику, всегда могло прийти в голову задать мне какой-нибудь неразрешимый для меня вопрос, вроде: «Не знаете ли вы, где можно приобрести хороший аквамарин?» А я даже не знал, какого он цвета, этот «аквамарин».

И после знакомства с Сапуновым, чтобы в дальнейшем застраховать себя от подобных переживаний, я, пользуясь многолюдием, попросту стал прятаться от Горького.

Но, по обязанности хозяина, проявляя большую непоседливость, он все же, случалось, иногда налетал и на меня.

— А с известным изобретателем, профессором К., вы уже познакомились? — тотчас же озабоченно спрашивал, думая этим знакомством доставить мне удовольствие.

И двумя-тремя меткими словами объяснял мне сущность изобретений, сделанных профессором.

— Уже, уже, уже! — энергично отбивался я от знакомства. — Познакомился.

А сам вставал и снова плелся по обширной столовой прятать себя на новом месте — плохо одетый, ничем не замечательный, бесталанный, страдающий, вовсе не желающий тягаться в чем-нибудь с великими людьми и, откровенно говоря, ожидающий ужина.

Тут, на этом собрании, как и везде, где бы он ни появлялся, Горький всем и каждому был нужен. Казалось, не существовало такого дела, в котором он не мог бы помочь. И если, уединившись в сторонку от всех, он вел деловой разговор с одним из гостей, то другие уже наблюдали за ним, подкарауливали его для себя. Жадный к людям, он шел им навстречу. «А такой-то пришел?» — то и дело слышался его громкий волжский говор, резко отличающийся от остальных. «А почему такого-то нет? Разве он не придет?»

В зале было уже полным-полно. Казалось, явись еще один человек, и его негде будет усадить. Но приходил новый гость, и место для него находилось.

Настоящее оживление и подлинная дружеская беседа разгорелись только за ужином, когда, по приглашению хозяев, гости шумно заняли места у стола и заговорили все сразу.

Екатерина Павловна, жена Горького,— молодая, статная, с черными густыми, издали грозными бровями и с неожиданно мягкими застенчивыми глазами,— неотлучно хлопотала у длинного, как на банкете, стола, составленного из нескольких. Она неслышно обходила гостей, приглядывалась к приборам, словно без конца считала их и снова сбивалась со счета, ловко меняла тарелки, возвращала на свой законные места приблудные ножи вилки...

Меня Екатерина Павловна, спасибо ей, не забывала. Я уже потерял счет порциям, которые съедал, а она все подкладывала мне новые.

Едва я управился с бараниной, как у моего уха послышался ее негромкий голос:

— А курочки разрешите вам положить?

Еще спрашивает! Разве возможно, чтобы я отказался? У меня был такой аппетит, что я мог любое ресторанное меню начать с любого конца, скажем, с последней, ни-

жней строчки, с шоколадного пломбира, и, поднимаясь вверх строчка за строчкой, закончить самой первой: малороссийским борщом со сметаной.

После компота Екатерина Павловна тихонько наклонилась ко мне:

— Я забыла вам предложить. Может быть, разогреть для вас миску щей? Хорошие. Свежие. Сегодняшние. От обеда остались. Любимое кушанье Алексея Максимыча.

И она посмотрела на меня такими глазами, что отказаться было бы большой невоспитанностью с моей стороны.

— Если не трудно, то пожалуйста,— пробормотал я. — Но только, если не трудно.

— Кроме щей, там еще полгоршка гречневой каши осталось. Тоже любимая пища Алексея Максимыча. Не разогреть ли, кстати, и ее?

— Пожалуйста. Но только, если не трудно. Главное, чтобы не трудно.

Потом я видел, как Екатерина Павловна несла обжигающую руки тарелку горячих щей еще кому-то, должно быть, другому такому же волчьебилетнику, с таким же волчьим аппетитом.

«Уже и ем «под Горького»: щи с кашей»! — мелькнула у меня во время еды насмешливая мысль. «Как подмаксимка».

И вспомнились мне «подмаксимки», отощалые юноши, в итальянских широкополых шляпах, с русскими суковатыми дубинками. Неугомонные мечтатели, они крепко сплоченными стайками носятся по Нижнему, без конца ведя между собой горячие споры на литературно-творческие темы, навеянные произведениями Горького. Потом, чтобы подкрепиться, заходят к кому-нибудь из своей компании и, не прерывая беседы, в непостижимом количестве пьют жиденький чай — единственное их питание — со знаменитым нижегородским ситником, купленным в складчину на последние медяки. Где-то они сейчас, бедняги? Вот кого пригласить бы на этот вечер! Опустошительной саранчой пронеслись бы по ужинному столу. В полчаса корки хлеба не оставили бы хозяевам.

Что ни минута, то становилось шумнее и оживленнее. Говор все чаще переходил в веселый крик, смех — в хохот. Надвигалась та высшая степень массового веселья, за которой обычно вспыхивает удалая песня, откуда-то берется музыка, сам собой возникает пляс.

Но мне не было весело. Чувство тоскливой неудовлетворенности не покидало меня. Как отравленный, я все время чего-то ожидал. Я ни на минуту не забывал, что нахожусь не где-нибудь, а в Нижнем Новгороде, и не у кого-нибудь, а у Максима Горького.

Время шло; веселье нарастало; в нескольких местах чокались бокалами; то там, то здесь кому-то аплодировали... Когда вдруг, вразрез с общим ликованием, где-то в глубине переполненного зала раздался громкий горестный плач. Рыдал мужчина. Это было тем более страшно.

В момент в зале все оборвалось: смех, крики, бренчание посуды.

Гости и хозяева привстали у стола и с вытянутыми лицами искали объяснения непонятному явлению, готовому испортить так хорошо начавшийся праздник.

И зал мало-помалу снова стал наполняться говором. Но говорили уже только по поводу происшедшего. Где-то называли имя виновника переполоха; где-то передавали подробности... «Ишь, как его развезло?» — «Да этого человека и бочонком не напоишь, его надо цистернами поить. Его даже наш астраханский протодьякон Богоявленский и тот не в силах перепить». — «А кто он?» — «Известный фельетонист из «Голоса Астрахани» Иерихонский, исключенный за политическую неблагонадежность семинарист, сын попа, редких душевных качеств человек». — «Говорят, очень талантлив?» — «Что из того, что талантлив, когда ужасный алкоголик. Горький и тот не может его спасти, сколько ни старается. Вот эта слишком длинная черная рубашка на нем тоже с плеч Горького, и удивительно, как он еще не пропил ее». — «Если он такой неисправимый пьяница, тогда непонятно, ради чего Горький возится с ним?» — «Ради его таланта. Это большой талант, хотя, по словам Горького, умрет под забором».

В это время и сам Иерихонский, невзрачный, неопрятно одетый, крупного телосложения молодой человек, с всклокоченными волосами и с совершенно опухшим лицом, встал на ноги, устремил глаза вверх и, с мучительными движениями всего корпуса, с силой выбрасывал в притихший зал одно за другим горькие, едкие, выстраданные слова:

— ...Писатели!.. Писатели!.. Соль земли русской!.. Разве такими хотели бы видеть нас наши читатели?.. Разве такими?.. Такими?..

«Начинается! — задыхаясь от волнения, торжествовал я. — Наконец-то начинается главное! По-ли-ти-ка!»

— ...Изолгались, исподличались!.. — сильнее и сильнее продолжал Иерихонский в муках выбрасывать каждое слово. — Думаем одно, пишем другое!.. Боимся за свое благополучие, подлаживаемся, потрафляем!.. Позор!.. Есть среди нас даже такие, равнодушные к добру и злу, которые печатают свои художественные произведения в суворинском «Новом Времени», в этом лакейском «Чего изволите?»...

— Неправда! — пронзил мертвую тишину острый, режущий голос в далеком конце стола. — Что за намеки? Клевета на присутствующих! Здесь нет ни одного нововременца! Здесь дом Максима Горького! Просим не забываться!

— Не перебивайте Иерихонского! — мгновенно запротестовали с другого конца стола. —После него можете взять слово для организованного ответа ему! Но ему-то и отвечать нечего, потому что он прав, он говорит не про «здесь», не про Нижний и не про «дом Горького», а про «там», про Петербург, про Москву! Называетесь критик, а не понимаете таких пустяков!

— А вы называетесь поэт, а в вашей книжке «Песни молодости» рифмуете «гуси» с «гусли», это все равно, что рифмовать «грабли» и «туфли»!

— Довольно пререкаться! — со всех сторон закричали на них обоих, зашипели, замахали руками. — Дайте договорить Иерихонскому!

...Зачем пишете?.. — между тем обличительно обрушился на писательскую часть аудитории Иерихонский с жестами трагика и уставился в упор в лица писателей, тесно сгруппировавшихся за столом вокруг Горького.

— Зачем пишете? — громоподобно гремел он на них. — Р-ради чего пишете?.. Р-ради славы?.. Р-ради денег?.. Р-ради баб?..

«Молодец!» — кричала вся моя душа, в то время, как я не мог оторвать восхищенных глаз от неотесанной фигуры астраханского гиганта. «Так их! Хорошенько, чертей!»

— Прекратите оскорблять присутствующих! — опять откуда-то вырвался прежний визгливый критик. — Что за выражение «ради баб»? И это литератор! Забываете, где находитесь! Здесь не пивная «Новая Бавария»!

— Вот вы-то и оскорбляете Иерихонского! — снова вцепился в критика тот поэт. — При чем тут ваша «Новая Бавария»?

— Она ваша! — взвизгнул критик. — Вы там ищете вдохновения!

— Прошу слова! — стараясь заглушить всех, вскричал, вскочив с места и опрокинув на скатерть бокал с вином, полный, как бы с припухшими щечками, франтовато одетый молодой человек, во всем с иголочки, сидевший плечо к плечу рядом с Горьким. — Дайте же мне, наконец, слово! Сколько времени прошу! Кажется, интеллигентные люди! При таком многолюдии необходимо установить какой-то порядок!

— Да, да! — раздалось вокруг множество обрадованных голосов. — Порядок! Порядок! Просим!

Щеголеватый молодой человек в ожидании тишины стоял, перегнув корпус назад и выпятив петушиную грудь, и смотрел на собрание каким-то странным, угрюмым и вместе могучим взглядом своих черных выпуклых глаз на одутловатом, как бы чем-то недовольном лице.

И в зале сразу узнали его. С сенсационным восхищением передавали из уст в уста уже известное в литературе, хотя и совершенно новое имя. «Очередная, самая последняя находка Горького». «Новое восходящее светило, способное в будущем,— если не сойдет с ума,— затмить самого Горького». «Ушибленный крайним психологизмом символист, начавший свою карьеру в московской газете «Курьер». «Леонид Андреев».

— Иерихонский прав, и я жму ему руку! — взволнованно сказал Андреев, дождавшись, наконец, тишины.

И он сделал в воздухе жест энергичного пожатия руки.

— На самом-то деле, «братья-писатели», давайте говорить откровенно! — продолжал Андреев. — В кои-то веки собрались вместе, и в таком количестве собрались! И что же мы делаем? Разбились на мелкие кучки, сидящие одна к другой спиной, и разговариваем о том, о сем, каждая кучка о своем! Недопустимая вещь! Совершенно не дорожим обществом друг друга! Теряем прекрасную возможность общей, чисто писательской беседы! Вношу предложение! В честь нашей сегодняшней встречи, которая — кто знает? — быть может, никогда больше не повторится, пусть сейчас каждый из нас с безграничной откровенностью, по-русски раскроет всю правду о своем глубоко личном творческом «святая святых», то есть честно ответит на вопрос, мужественно поставленный перед нами Иерихонским...

Андреев не сразу нашел своими тяжко-горящими глазами Иерихонского, сделал попытку улыбнуться ему, потом нарастающим голосом, с большим пафосом, отчеканил, обращаясь к собранию, недавние слова астраханского фельетониста, даже с невольным сохранением его вызывающе-рокочущей интонации:

— «З-зачем пишете?..» «Р-ради чего пишете?..» «Р-ради славы?..» «Р-ради денег?..» «Р-ради баб?..»

И, несмотря на то, что он только повторил чужие слова, впечатление от них было огромное. Каждый из присутствующих почувствовал, что от ответа на поставленный вопрос сегодня ему не уйти. И кто смутился, кто улыбнулся, кто по хмурому выражению лица Горького попытался разгадать его отношение к дерзкой затее Андреева...

— Извольте-ка сейчас по очереди высказаться,— тоном, не допускающим возражений, сказал в конце своего предложения Андреев, обращаясь ко всем, и сел на место.

— А вы? — спросил низким голосом и поправил за ухом шнурок от пенсне известный поэт из народа и церковный певчий, бас, Скиталец, сидевший за плечом Горького.

— Я тоже буду,— твердо ответил Андреев и, наклонившись к Горькому, что-то быстро и горячо зашептал ему, как бы в чем-то оправдываясь.

Резко бросалось в глаза, что во внешности писателей, сидевших тесной группой — Горького, Андреева, Чирикова, Скитальца и некоторых других,— несмотря на огромные различия, было что-то общее, обязательное, чисто писательское и подчеркнуто горьковское. В особенности это относилось к Скитальцу. К тому же у него был наиболее горделивый вид.

— Предлагаю избрать председателем предстоящей писательской беседы на уже оглашенную тему, как главного автора этой темы, Иерихонского! — привстав, заявил Скиталец, предварительно пошептавшись с Горьким о кандидатуре фельетониста.

Дружными аплодисментами предложение было принято всеми.

— Вся власть Иерихонскому! — прокричал отдельно Андреев.

Иерихонский отнесся к порученной ему роли с бурным энтузиазмом.

— Ти-хо! — тотчас же принялся он наводить за столом порядок, стоял и так оглушительно бренчал вилкой по краю тарелки, что дамы, сидевшие рядом, с испуганными лицами скосили на него глаза и зажали уши. — Одну минуту внимания! — призывал он. — Вы знаете, что я не любитель ни громких фраз, ни пышных деклараций! Поэтому я попросту скажу, что первая часть нашего сегодняшнего вечера, стихийная, пустая, ни к чему не обязывающая, прошла, канула в вечность! Начинается вторая часть, новая, серьезная, организованная, о которой можно и должно сказать несколько подробней...

Иерихонский, придавая предстоящей второй части вечера огромное значение, разволновался невероятно.

— Должно войти в историю,— уже кричал он страшным криком, все время поднимая голос,— что в городе Нижнем Новгороде, на углу Ковалихинской площади и Мартыновской улицы, в старом деревянном мещанском доме, в квартире молодого, всероссийски известного Максима Горького в таком-то году, такого-то месяца, в ночь на такое-то число, происходили литературно-творческие исповеди виднейших писателей земли русской нашей эпохи!!!

Помимо сильных выражений и повелительных жестов, у астраханского семинариста были взвихрены столбом волосы, придававшие ему особенно неустрашимый, готовый к бою вид, и я так истерзал себя в предчувствии всего, что сейчас должно было произойти, что меня, как кисейную барышню, начала бить нервная лихорадка, чего со мной раньше никогда не бывало.

— Начинаем! — торжественно провозгласил Иерихонский и в последний раз продолжительно застучал вилкой по тарелке.

4. ТВОРЧЕСКИЕ ИСПОВЕДИ

После недолгих споров решили выступления писателей начинать от самовара, весело кипящего на одном конце длинного стола.

— Начнем самоваром и кончим самоваром, обойдя весь стол! — сказал председатель, очертив рукой в воздухе длинный овал.

И тотчас среди присутствующих возникли перебежки — сперва исподтишка, потом довольно открыто. Начал, как бы шутя, один. Его примеру, так же неуверенно, последовал второй. За ним не удержался и, осмотревшись, как заяц, метнулся со своего места третий...

Одни перебегали, другие хохотали над ними. Зал наполнился всеобщим движением и стонущим хохотом.

— Что это?! — закричал на всех не своим голосом Иерихонский и бешено заколотил вилкой по краю тарелки. — Назад! Назад! И это называется серьезное отношение к делу? Кажется, не дети! Все бегут от самовара, как от огня! Не хотите принимать участие в беседе — не надо! Силой никто никого не заставляет! Займите сейчас же прежние свои стулья! И если замечу занимающего место подальше от самовара, заставлю его высказаться вне очереди!

И он окликнул нескольких уважаемых человек по фамилиям:

— Куда вы бежите???

Угроза подействовала. Началось обратное движение вокруг стола — как бы раскручивание. Люди откровенно сознавались, что сами не понимали, как это произошло, и виновато возвращались на свои прежние места.

— Вот что значит толпа,— сказал известный ученый-психолог, автор многих книг, глубокий старик, тряся белой бородой сказочного кудесника и пристыженно плетясь на свое место. —. Из кого бы она, толпа, ни состояла, из критиков, из гениев, все равно это только толпа, соединение большого числа людских особей, в котором каждая отдельная особь утрачивает способность оставаться собой.

— Внимание! — яростно призывал всех к порядку Иерихонский. — Выступает первый от самовара...

— В какую сторону первый?

— Конечно, в эту, по движению солнца!

Как раз у той стены, к которой повернулись лица присутствующих, стоял на высоком постаменте, видный весом, бюст бровасто-сурового Льва Толстого, более чем в натуральную величину, из светло-желтого свежего дерева, вырезанный смелой рукой, как говорили, талантливого скульптора — самородка из народа. Бюст был — как нельзя более удачно — обрамлен огромнейшим венком из золотистых колосьев зрелого хлеба, в чем некоторые гости Горького, кстати сказать, пытались разгадать какой-то символ.

Присутствие скульптурного образа мирового гения как бы обязывало молодую поросль русских писателей вести сегодняшнюю беседу с беспредельной искренностью, с мужественной откровенностью, с толстовской смелостью, без всяких умолчаний и прикрас.

И все участники собрания высказывались так, что после каждого из них я, совершенно ошеломленный, говорил себе: сильнее этого уже никто не скажет. Но подходила очередь следующего, и он по-новому, по-своему потрясал меня. Я весь изболелся душой, мучительно переживая неслыханные по своей откровенности речи.

Почти все разнообразие выступлений писателей можно было бы уложить между двумя крайними полюсами мнений. Первый полюс: на свое литературное творчество писатель смотрит просто как на всякий другой подневольный труд, как на обычное тягостное ремесло, которое с грехом пополам кормит его. «Зачем врать перед бюстом Толстого, в квартире Горького? Зачем по-ораторски придумывать что-то выспреннее? Зачем пышные фразы о Большом Искусстве? Надо прямо говорить — пишу исключительно ради заработка, ради денег, ради хлеба. Если бы, допустим, мостить мостовую было для меня легче и платили бы мне за это дороже, то я с радостью сегодня же перешел бы на эту новую работу». Второй крайний полюс: на всю свою писательскую жизнь автор литературных произведений смотрит как на подвижническое служение «высшим целям бытия». «Знаю, что это дается мне не легко, много труднее, чем всякое другое дело. Знаю, что писательская работа быстрее, чем всякая другая, изнашивает меня. Знаю, что она убивает меня. Знаю, что никогда не напишу ничего бессмертного. И все-таки писать не брошу никогда. Ни при каких условиях не изменю эту профессию на другую, хоть озолотите меня. Умру за письменным столом».

Но были и такие суждения, которые не умещались ни в эти, ни вообще ни в какие рамки. Один довольно популярный писатель сознался, что печатается, как известно, давно, но зачем пишет, не знает. «Над этим вопросом не думал никогда, поэтому ответить на него сегодня не могу. Может случиться, когда-нибудь подумаю об этом».

— Я пишу ради своего ближнего, чтобы, чем могу, помочь ему,— начал свою исповедь Евгений Чириков, когда очередь от самовара дошла до него.

У Чирикова был очень приличный и вместе с тем простодушный вид русского интеллигента. Почти квадратное, мягко улыбающееся лицо. Большой выпирающий вперед лоб. Обязательные для писателя такого склада длинные волосы, зачесанные назад. Маленькие живые глазки под пенсне на черном шнурке, закинутом за ухо. Коротким конусом срезанная бородка, упирающаяся острием в широкий пышный художнический бант, с концами во всю грудь.

Как беллетрист-бытовик, к тому же обладающий юмором, Евгений Чириков занимал весьма солидное место в художественной литературе. За ним упрочилась слава знатока русской провинции. Он много разъезжал по стране; в качестве корреспондента забирался в самые глухие уголки, выписывал губернские газеты, вел постоянную переписку с культурными одиночками далеких окраин и заброшенных захолустий. Ежемесячно в одном из толстых прогрессивных журналов появлялись составившие ему славу «Провинциальные картинки», в которых он высмеивал никчемное прозябание запуганных обывателей, с одной стороны, и беззаконие местных властей — с другой. Раз в два-три года в лучших издательствах выпускались, по образцу книжек Горького, томики его «Очерков и рассказов».

И теперь, только что вернувшись из очередного путешествия по российским медвежьим углам, нагостившись у сельских учителей и земских врачей, полный свежих впечатлений, он, едва заговорив, сразу же сел на своего любимого конька и, не жалея красок, развернул перед слушателями удручающую картину жизни своих «ближних» в царской России. Бесправие народа... Произвол администрации... Нищета в деревнях... Безработица в городах... Отсутствие школ, неграмотность, мракобесие... «Явление иконы», «святые братцы», «чудотворные колодцы»... Недостача врачей, больниц, колдуны, знахари, сифилис, трахома, чесотка...

Только от одного перечня этих явлений, не говоря уже о живописных иллюстрациях к ним, приводимых Чириковым, по телу пробегал мороз. И все время, пока он говорил, то в одном конце зала, то в другом раздавались восклицания жалости, ужаса, негодования...

Лично мне пространное выступление Чирикова понравилось. Служение ближним, разве это плохо? Чего же лучше?

— А я пишу не для ближнего, а для дальнего,— резко, раздраженно, нарочито полемической фразой начал свое высказывание Леонид Андреев, который, все видели, давно проявлял нетерпение, и чем дольше говорил Чириков, тем больше пил, и Горький уже немало отставил от него наполненных бокалов.

Весь зал, затаив дыхание, смотрел в ту сторону, где стоял Андреев и где сидел, вплотную рядом с ним, Горький. И все заметили, какой тревогой наполнилось лицо Горького, когда Андреев начал говорить.

Работая в последнее время над большой повестью «Жизнь Василия Фивейского», в которой, по замыслу автора, верующий поп в конце концов должен будет проклясть Бога, Андреев привез с собой в Нижний и библейский тон этой повести, и творческую отрешенность от будничной действительности, и душевную надорванность долгим напряженным трудом. Перед ним и здесь, в шумном зале, среди множества видных людей, вдруг вставали отдельные фразы и целые страницы из повести и снова наполняли его грудь сжигающим пламенем вдохновения. И он делал отчаянные попытки залить вином этот губительный для него пламень.

— «Ближний»... «Ближний»... — продолжал он желчно, не всегда связно, как бы рассуждая вслух с самим собой. — А что может понять ваш «ближний» в моих произведениях, особенно в тех, которые я еще не написал, а только собираюсь писать и обязательно напишу? «Ближний», которому, в качестве меры спасения от грозных и неотвратимых сил жизни, завтра будут высланы почтой залатанные подштанники. Этот «ближний», ручаюсь, решительно ничего не способен понять в моих сочинениях по той простой причине, что у него отсутствует, в достаточно развитом виде, орган понимания...

Заносчивое начало выступления Андреева явно не понравилось аудитории, жадно воспринимавшей каждую его фразу. Всеми почувствовалось, что в гостеприимной

квартире Горького, где до сих пор царило такое трогательное согласие, теперь назревает какой-то разлад, могущий, чего доброго, перейти даже в скандал.

Я тоже был по-своему охвачен общим смятением и вдруг обнаружил, что если я до сих пор все понимал в выступлениях писателей, то теперь этому пониманию, видимо, приходит конец. Хватит ли моего «органа понимания» для правильного восприятия всего, что тут будет происходить дальше?

— ...«Ближний»... «Ближний»... — было слышно, как тяжко ударяло это слово в устах Андреева. — Не в том трагедия бытия, что у вашего «ближнего» нет белья, а в том, что он не человек и никогда не будет человеком, не успеет сделаться им. Люди вообще до самой смерти не успевают сделаться человеком, так и умирают, не испытав ни разу этого состояния...

«Пессимист»... — потихоньку передавали друг другу слушатели слова последних журнальных статей, характеризующие творческое лицо Андреева. «Самоуглубленец». «Космист»...

Казалось, если Андрееву дать волю и дальше наносить свои безжалостные удары, то от речей писателей, даже с большим успехом выступавших до него, не останется и следа: все будет неприятно подорвано, смято. И иные из присутствующих с серьезной обидой поглядывали на Горького: почему он, хозяин дома, молчит? Почему не уймет своего младшего, слишком расходившегося собрата?

— А что он может сделать? — слышалось кое-где перешептывание об этом. — Здесь ведь не диспут с оппонентами и возражениями, а только исповеди. Каждый высказывается лишь один раз и под ответственность собственного имени, здесь люди с именами. Теперь уже только история будет им судьей.

А Горький в это время сидел в закаменевшей позе, подперев рукой голову и опустив глаза.

— ...Одеваться и кормиться, кормиться и одеваться — вот вершина, до которой способно подниматься зачаточное сознание вашего «ближнего»,— продолжал бухать Андреев. — У меня нет и не может быть общего языка с таким «ближним». Я не хочу в своих писаниях возвращаться к нему назад, я хочу идти от него вперед. Подальше, подальше от него! Вы спросите: куда я иду? К гению!..

«Маньяк»,— продолжали слушатели вспоминать, что им удалось читать об Андрееве. «Ницшеанец». «Раненый ум».

— Но гениальность для меня не предел,— предупредил Андреев. — Мне виден и дальнейший путь. Там, за гениальностью, маячит следующий этап моего движения вперед: божественность.

По лицам присутствующих как будто пробежал короткий, подобный уколу иглы, электрический ток. Перед всеми стоял один и тот же вопрос: что это — рисовка со стороны Андреева или безумие?

— Кто я такой, Андреев Леонид? — мрачно кокетничая, вещал писатель о себе. — Я — позавчера зверь, вчера человек, сегодня гений, завтра... бог.

Горький завозился на стуле и, не поднимая головы, скосил расширенные глаза вверх, на Андреева.

— Бог, в высшем, атеистическом смысле этого слова,— мгновенно поправился Андреев, сделал паузу и, воспользовавшись оплошностью Горького, хорошо отхлебнул из бокала. — Таким образом, современный человек далеко еще не «венец творения». Правда, это уже не устрица. Но и только. Большего о современном человеке сказать нельзя. Вот почему, вопреки существующим противоположным утверждениям, человеку пока гордиться нечем, скорей стыдиться нужно. На самом-то деле, мы поклялись сегодня быть безгранично честными в своих высказываниях? Ответим же себе честно, что представляет из себя сегодняшний человек, то есть человек в нынешней стадии своей формации? Как вам известно, он деятельный участник войн, смертных казней, еврейских погромов и других тяжких преступлений. Человек на этом свете больше всего боится человека же, то есть себе подобного. А в наших специфических русских условиях он, по авторитетному свидетельству Чирикова, к тому же еще в своем быту обходится без уборных, гадит где попало, не знает носовых платков, кашляет или чихает вам прямо в лицо... Что же общего может быть у меня с ним? Я не народник, разговаривать с подобными «ближними» не умею, и Чириков мне нужен, как переводчик...

В конце своей речи Андреев, коснувшись «золотой эры», по его мнению, все же когда-то ожидающей человечество, дал несколько черточек, отличающих его «дальнего» человека от чириковского «ближнего».

— Пройдут столетия,— пророчествовал он свойственным ему трагически-библейским тоном. — Пройдут тысячелетия... Сменится бесконечная чреда поколений... Исчезнут навсегда с лица земли войны... Не будет смертных казней... Следы теперешнего нашего быта останутся только как экспонаты исторических музеев... Духовная красота будущего совершенного человека бесследно затмит собой красоту нынешнего... И лица новых, не похожих на нас с вами людей, полных возвышенных чувств и больших мыслей, будут сиять, как звезды, поглощая в себе неправильные внешние черты... Калеки, уроды — и те будут преображены изнутри. И люди того далекого будущего по школьным учебникам с картинками будут изучать нас с вами, своих далеких предков, как каких-то слепорожденных тварей, от которых они, к своему удивлению, когда-то произошли...

Когда Андреев кончил, все почувствовали себя совершенно разбитыми, измочаленными. Но следующим за Андреевым сидел Горький, очередь принадлежала ему, и одно сознание этого давало людям прилив свежих сил.

До этой минуты с большим или меньшим интересом выслушивали всех выступавших писателей. Одни из них говорили длиннее, другие короче; одни сильнее, другие слабее. Иные речи для многих прозвучали почти что откровением. И тем не менее в зале не было ни одного человека, который не таил бы в себе железной уверенности, что гвоздем вечера, победителем мнений явится, не может не явиться, Горький, только он.

Только Горький!

А я страдал. Благодаря своим малым знаниям, поражался содержательностью буквально каждой речи, и это привело к тому, что я в конце концов стал бояться за Горького. Если все главные идеи уже разобраны и использованы другими, то что же останется на его долю? От чего ему оттолкнуться? За что уцепиться? Что сказать, когда уже все сказано на столетия, на тысячелетия вперед, а Андреев ухитрился нарисовать даже то, что будет через «миллионы миллионов» лет!

В зале почему-то царило убеждение, что если некоторые писатели говорили почти по часу, то речь Горького должна продлиться, во всяком случае, еще больше. И всех охватила горячка спешных приготовлений: двигали стульями, усаживались поудобнее...

Иерихонский волновался больше других. Он и встал на своем председательском месте по-особенному, не как раньше; и окинул подвластную ему аудиторию уже не прежним, а каким-то новым взглядом; и побренчал вилкой по тарелке иначе, хотя в этом не было никакой надобности, так как весь зал давно замер в одном желании: услыхать голос Горького.

Вот он поднял голову; откинул назад прямые монашеские волосы; пошевелил широкими горизонтальными плечами; скользнул взглядом по присутствующим; сдержанно улыбнулся одними губами, очевидно, уже весь отдавшийся мыслям, назначенным для высказывания.

И от всей его крупной, очень отличной от других фигуры, в простой русской косоворотке с расстегнутым воротом, на всех нас вдруг с невероятной силой пахнуло речной волжской свежестью, благовонными ветрами исхоженных им ковыльных степей, золотом солнечной глади южных морей, неугомонной толчеей разноязычного пристанского люда Астрахани, Нижнего Новгорода, Самары, пахнуло «Макаром Чудрой», «Челкашем», «Мальвой»...

И вот Горький заговорил. Он произнес самую короткую речь. Мы услыхали от него всего несколько фраз. Но каких!

Своим, таким милым для всех, волжским, мужиковато-окающим говором он произнес эти фразы раздельно, негромко, тише многих других, выступавших до него:

— Я пишу для самого совершенного читателя наших дней — простого, трудящегося человека. Пишу для хороших, здоровых людей, которым принадлежит будущее. Для тех людей, которые не только верят в это будущее, мечтают о нем, а борются за него...

Секунда напряженнейшего ожидания всего зала.

— Все,— чуточку изменившись в лице, громче прежнего заявил Горький, видя, что от него ждут еще какого-то продолжения.

И только тогда у всех в глазах вспыхнула искорка мгновенного прозрения. И собрание, в нарушение собственного постановления никому не аплодировать, устроило Горькому такую стихийно возникшую овацию, какую даже ему нечасто приходилось видеть.

Что делалось со мной, не берусь передавать. Могу сказать лишь одно, что, вероят-

но, я от природы был более чем слишком впечатлителен. И в полную меру принял на свой счет слова о будущем, за которое нужно бороться.

В одном месте зала, в центре тесной кучки мужской и женской молодежи, блестела апостольская лысина известного литературоведа Чешихина-Ветринского.

— Нет, как ее не поверни, эту краткую речь, она, несмотря на свою простоту, прямо-таки гениальна! — возбужденно говорил своим слушателям литературовед. — Выражение Горького о борьбе за будущее надо, конечно, понимать и глубже, и шире, и конкретнее. Взять, к примеру, такой вопрос: кто сейчас у нас тормозит жизнь, мешает развитию страны, сознательно и преднамеренно держит народ в темноте?

Молодежь, не задумываясь, почти хором ответила критику:

— Полиция!

— Вот, вот,— учительски подтвердил критик. — Именно что полиция. Таким образом, слова Горького надо понимать как борьбу против всего нынешнего строя — против царизма. А кто его защищает?

— Конечно, полиция! — взревели молодые голоса. — Да еще войско!..

— Убрать полицию и военную силу, и Россия бурно возродится. И Горький как писатель сам наносит нынешнему строю страшные удары... Замечательное, историческое выступление Алексея Максимовича!

— А как другие выступления, других писателей? — поинтересовалась молодежь мнением критика.

— Что другие,— мотнул седеющей бородой Чешихин-Ветринский. — Другие выступления с ним сравнивать нельзя. Взять, к примеру, темпераментное выступление Скитальца. Внешне, слов нет, оно было очень эффектно. Но и только. И никто из вас, только что слушавших его, сейчас не скажет, за что же борется и против чего протестует Скиталец?

— А что вы скажете про сроки Андреева? Про его «миллионы миллионов» лет?

— Ах, ну, что об этом говорить,— заулыбался критик. — Мы обречены жить сегодня. Кроме того, для меня еще не совсем ясно: верит ли сам Андреев со своим пессимизмом в «золотую эру» человечества, или же упоминанием о ней делает только уступку Горькому. Но главное все же не в этом. Самая главная и самая вредная ошибка Андреева состоит в том, что он, любитель ужасов, зло социальное принимает за зло космическое и тем деморализующе влияет на силы, способные к борьбе. В этом он прямая противоположность Горькому.

В другом конце зала толпа почитателей окружила Леонида Андреева. Он со своими как бы обиженно надутыми щеками, с угрюмым блеском темных глаз, стоял на месте, держал в непослушной руке бокал, чокался с одним, с другим, пил и устало отвечал отрывочными фразами на обвинения.

— ...Не судите меня за жесткие слова о человеке... Они продиктованы высшей мерой моего сострадания к нему... Сострадания, переросшего в ненависть... Милосердия!.. — вдруг вскричал Андреев почти невменяемо, спрятал лицо в ладони, как бы заслоняясь от какого-то призрака и, пятясь от этого призрака, упал в кресло.

Его участливо окружили.

На освободившееся посреди зала местечко вдруг выбросился веселыми прыжками безусый юнец в распахнутой светло-серой студенческой тужурке и в темно-синей сатиновой рубашке под ней. Он лихо встряхнул золотистыми кудрями, забросил в потолок удалой взгляд и, никого не спросясь и ни с кем не сговариваясь, один рванул от всей души сильным, звенящим тенором песню:

Пыльной дорогой телега несется,
В ней по бокам два жандарма сидят...

К нему поспешно присоединялись другие, прежде всего умеющие петь. И хор мужских и женских голосов разрастался с каждой минутой.

— Петь, петь, идите петь! — где-то созывали энтузиасты пения последних нескольких человек, еще остававшихся в стороне.

Горький и другие стояли вокруг юнца, студента из ссыльных, волчьебилетника, и после его высокого, разливистого, хватающего за душу соло хор низкими, мужественными голосами выводил припев:

Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить...

Публицистика

Борис КОТЛЯРОВ

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Харьковский памятник Тарасу...

Каждый раз, проходя возле него, невольно задерживаешь шаг и думаешь о поэте, об истории народа. Обязательно вспомнишь и то, как памятник задумывался, создавался.

Нельзя в поисках нового, даже самых смелых, ни на что не опираться из уже пройденного, пусть и очень давнего. Нельзя. Так во всем. И в творчестве тоже.

Мысленно перебираю годы и все чаще останавливаюсь на одной поре. Да, именно тогда и готовился памятник нашему Кобзарю.

Конец двадцатых, начало тридцатых годов на Украине.

К литературной жизни того времени вырос интерес не только в печати, литературоведческих исследованиях, но и в непосредственных беседах, во взволнованных вопросах молодых:

— Я много читал научного. Все это знаю: «Плуг», «Гарт», «Ваплите»... Но какие то были люди? Жизненно какие? Наш Харьков тогда — каким он был?

Я задумываюсь, я вспоминаю, я отвечаю юноше и... самому себе. Приходится касаться своей жизни, личного восприятия, оно лучше вырисовывает прошлое. Рассказ складывается сугубо лирический...

Моему узнаванию литературной среды Украины предшествовали такие события. Мальчиком из Петрограда я был заброшен в украинские места, в необычно новую обстановку. Наверно, многим знакомо манящее чувство прикосновения к другой, ранее неизвестной тебе речи. Ты еще мал, еще новые слова узнаешь в родном языке, и вдруг слышишь, понимаешь, что вот она — другая речь, и, значит, в чем-то другая жизнь.

Чаще всего такое ощущение приносит песня — неизвестные слова приходят с мелодией, отчего еще сильнее трогают. Слова с музыкой — особые слова. А мне казалось, что меня на Украине прежде всего окружили песни, прекрасные во всем — в своей мелодичности, мудрости, доброте, улыбке, грусти — народные украинские песни.

И одновременно,— а это была уже начальная школьная пора,— с языком, с песней приходила украинская литература. Да и можно ли разграничить, где кончается народная поэзия и начинается великий Шевченко. Помню, меня, маленького, взяли в школьную постановку — изображать поводыря, а старшеклассник-Кобзарь пел шевченковские «Думы мои, думы мои...» Это участие в жизни заветной песни было лучше всякого урока.

И все-таки то, чего не хватало в двух небольших городках, увиделось позже в тогдашней украинской столице. В Харькове останавливало внимание все.

Не только овеянные революционной славой заводы-гиганты, на один из которых я поступил работать, не только новостройки, Госпром, дворцы культуры, здание ВУЦИКа, с декоративными пушками у входа, где была провозглашена Советская власть на Украине...

Но и древний собор. Ступени коллегиума, на которых, казалось, звучат шаги Сковороды. Парк Квитки-Основьяненко. Скульптура Шевченко — та, дореволюционная, в саду семьи Алчевских. И другая — на Селянском Будынке. Здание Художественного института с национальными чертами в архитектуре. Такое же здание писательского клуба. Памятные имена, события, даты... И ветры на улицах, влетающие, чудилось, со всех краев Украины...